

Мое первое воспоминание, четко зафиксированное в памяти, пришло из четырехлетнего возраста, и сегодня, стоит мне закрыть глаза, как я в мельчайших подробностях вижу себя в гостиной комнате нашего дома, занимающегося на полу лепкой из пластилина. Это занятие так захватило мою детскую душу, что мне не хватало на него целого дня. Дождавшись, когда родители лягут спать, я потихоньку пробирался на кухню, зажигал пятилинейную керосиновую лампу и продолжал до полуночи свое любимое дело. Со временем я достиг такого умения и мастерства, что в восьмом классе занял первое место на республиканском конкурсе по лепке и получил «взрослый» приз — золотые часы. С тех пор мои школь-

ные преподаватели стали в голос предрекать мне судьбу известного скульптора.

Но именно в восьмом классе я, совершенно неожиданно для себя, начал писать стихи. И активно писал их до 22 лет, продолжая одновременно заниматься лепкой. Мои стихи уже регулярно печатала наша районная газета «Ленский коммунист», газета большого соседнего «алмазного» района «Мирнинский рабочий», и даже главная республиканская газета «Социалистическая Якутия», но я вдруг решил, что поэзия — это не мое дело. Написав восьмистишие, в котором были строчки «не хороши, и не плохи — не получают стихи», я поставил точку на этом поприще. Но чтобы меня не разорвала жажда хоть что-то излагать на бумаге,

я решил переключиться на публицистику и поделиться в ней своим крестьянским опытом непростого земледелия на вечной мерзлоте. Первая книга «Чтоб земля давала больше» вышла в Якутске, а вторая — «Слово о русском поле» — уже в Москве, в издательстве «Советская Россия».

Но, видимо, если ты пожалован Богом поэтическим даром, то, сколько от него ни бегай, все равно рано или поздно вернешься на эту стезю. И через десять лет, уже в 32 года, я начал писать стихи снова. Исключительно для себя, что называется, в стол. Это продолжалось шесть лет. Лишь когда я с уверенностью почувствовал, что стихи можно показать профессионалам, я взял их с собой в командировку в Якутск и положил их на стол двум авторитетным в моих глазах мастерам слова — известному поэту-якуту, пишущему на русском языке, Алексею Михайлову и народному поэту, признанному драматургу и прозаику Ивану Гоголеву. Неожиданно для меня эти корифеи слова приняли мои стихи с восторгом и тут же предложили их к публикации в журналах и газетах со своими вступительными статьями.

С тех пор я стал регулярно печататься в республиканских изданиях, а когда мне понадобилось по работе поехать в Москву, взял с собой 120 лучших, на мой взгляд, стихотворений. Разделив их на подборки по десять штук, я обошел 12 литера-

турных журналов и газет, в том числе таких, как «Литературка», «Завтра», «Литературная Россия». Мои стихи приняли везде, а два известных журнала, «Юность» и «Наш современник», став моими крестными родителями в российской литературе, напечатали в течение года по две большие подборки.

В 60 лет мне показалось, что я достиг в поэтическом мастерстве таких высот, что дальше мне расти уже некуда, и решил перейти на прозу. За пять лет я написал большой роман, четыре повести и 35 рассказов общим объемом в 100 печатных листов. Но вот что странно, казалось бы, при такой интенсивной прозаической работе для стихов совсем не оставалось времени и я должен был писать их совсем мало, но получилось наоборот. Богу оказалось угодно, чтобы за эти пять лет из-под моего пера вышло в два раза больше поэтических строк, чем в предыдущие годы...

Невольно возникает вопрос: а чем тогда, в конце концов, является для меня поэзия? И я на него отвечаю так: писание стихов сравнимо с животворным дыханием, биением сердца. Если у меня вдруг пропадет стихотворный дар, то я стану самым несчастным человеком в мире, поскольку не смогу выражать самые сокровенные, самые глубинные свои чувства, окажусь в духовной тюрьме, где жизнь потеряет всякий смысл...

Иван Переверзин

* * *

Со всей упругостью вершин
подперли кедры небо синь,
златящуюся, словно просо.
А там, за речкой, на лугах
цветет полынь, гнездится птах
и пчелы щедро медоносят.

И это все любимый край,
что не сменю я ни на рай,
ни на богатство, ни на славу.
И, может, потому душой
за верность вечности самой
исполнюсь святости по праву.

И пусть за осенью зима
с морозом грозovým весьма

приходит вечною дорогой...
Случись чего, заруюсь в снег,
как будто в соболиный мех, —
считай, за пазухой у Бога...

Любовь к отеческой местам,
моей души высокий храм,
позволит праведно сказать:
«Где я родился по весне,
там и сгодиться смог вполне,
чтоб мог достойно умирать».

* * *

Вдруг я словно попал в пургу
в тополином, зеленом парке...
Будто воздух настолько жалко —
что его вдохнуть не могу...

Мне б на Север, в родную даль,
чтобы дышать настоящим снегом,
и тогда лишь бороться с небом,
когда счастья совсем не жаль.

Только я не хочу ни спорить,
ни браниться, ни душу рвать...
Мне бы только тебя миловать, —
да тонуть в твоих синих озерах...

И алкать их заветное пламя,
и гореть в нем, да так, чтоб высь
голубела — и делалась жизнь
лишь светлей и родней с годами.

Я романтик, в чьем сердце грусть —
по туманам, лесам и долам...
И в жарищу с тоской веселой
из криницы живой напьюсь.

Нет, не зря тополиный пух
закружил спозаранку в парке, —
показался он мне подарком,
и спасеньем от всех прорух...

* * *

В раковины моих ушей залетает утренний ветер,
рождая шум, схожий с тяжелым рокотом моря...

И видится пляж, где песок золотисто-светел,
где байдарка, на которой поплыву скоро...

Среди волн, вздымающихся на дыбы, как кони,
меня наполняет не страх, а яркое чувство отваги.
Будто я рожден, выходя из одной погони,
попадать в другую от смерти всего лишь в шаге.

А ты, прижимая подол к своим ногам загорелым,
за жизнь мою грешную боишься до слез горячих,
и молишь, чтоб я избрал поспокойнее дело, —
иначе в крутых волнах потерплю неудачу...

С тревогой твоей я до конца, моя дорогая...
но только в борьбе, хотя бы с самим собою,
смогу я в любви душой гореть, не сгорая,
как солнечный луч над морем порой грозовою.

* * *

Проблемы в жизни горькой, злой,
то в виде клеветы мерзавцев,
то в виде ссоры непростой
с любимой, не дают собраться,
чтоб делу сердца, как любви,
служить решительно, заветно
до светлой радости в крови,
несущейся звенящим ветром!

Но я не прокричу: «О, жизнь,
ты мне вконец осточертела!..» —
ведь остается правой мысль,
что выше всякого предела
согласье вновь и вновь страдать
на этом свете, чем с червями
о пользе смерти рассуждать —
в слепых камнях меж корнями!..

* * *

Не мучайся! Я впредь не буду
ни песни петь, ни слезы лить.
Но глаз зеленых изумруды
мне даже в смерти не забыть.

Они искрятся каждой гранью!..
К себе зовут, к себе манят!
И потому я звездной ранью
так страстно нежностью объят.

И только лишь, собравши волю,
вдруг не врываюсь я к тебе:
ну хоть пытай до жуткой боли,
но будь со мною по судьбе!

Но вновь надменна и сурова,
ты вся оделась, как в броню,
в миру, где ничего родного,
где чувства гибнут на корню.

И я уже лет сто, пожалуй,
всей жизнью не взорву его.
Какая боль! Какая жалость!
Как будто все в тебе мертво!

* * *

В жизни многое из плохого
почему-то слагалось в стихи...
Значит, каждое верное слово
подтверждало наши грехи.

Ах, какое печальное дело —
ведь его не избыть нам вовек.
Словно вечность оцепенела —
и засыпал нас мерзлый снег...

* * *

Дождь хлещет истоиво, как из ведра,
стучит и стучит в глухое оконце.
Но как мне хочется, чтобы ветра
вкатили на небо горящее солнце!

Немного осталось до осени дней,
считай, до морозов, поскольку с ними —
она и заявится в одну из ночей,
когда вдруг твое мне приснится имя...

Разлука бурей к нам ворвалась,
лишила покоя... да что там — счастья...
Как будто в этой жизни для нас
закончилось время любви и участия.

К черту печаль! Вообще наплевать
на все, что никак не сбывается что-то...
Заведу «Беларусь» да начну поднимать
зябь после щедрого зерномолота!

Так увлекусь вдохновенным трудом,
что и забуду о солнце лучистом,
и, может, твой образ вместе со сном
время затянет туманом росистым.

И глухая тоска отступит, как степь...
И покажется: нету дождя сегодня...
Отцовское поле! Души моей крепь!
Ты мне навеки помощь Господня!

* * *

Верьте мне или не верьте,
но в угрюмой круговерти
я себе ни враг, ни брат,
ибо ох как напиваюсь, —
будто с жизнью враз прощаюсь,
хоть и без того я клят...

Только выживать-то надо
в стуже, в вьюге, в снегопаде,
ну а летом в знойный гнет!
Это трудно, даже страшно,
будто в драке рукопашной,
где ручьями кровь течет!

И до хруста стиснув зубы,
я не то чтоб дико, грубо,
но с решимостью прямой,
как с похмелья мне ни худо,
жизнь творю каким-то чудом,
веря в Бога всей душой.

* * *

О чем жалеть, кого винить угрюмо,
чтобы однажды все-таки простить...
Не небеса же, в чьих высоких думках
меня уже давно должно не быть.

Но не хандрю и, веруя в бессмертье,
не жажду славы шумно-суетной...
Ведь надоело рвать на части сердце
то острой болью, то глухой тоской...

Живу, как все, вернее, доживаю,
я со стремленьем жарким вновь и вновь
познать успех во всем, что совершаю,
что мне приносит светлую любовь.

И в круговерти городского шума,
пусть нелегко порою крепким быть...
Но небеса — в моих высоких думах, —
и я надеюсь с ними вечно жить.

* * *

Навек, не больше и не меньше, —
но с самой милой из женщин
мне удалось судьбу связать.
А что, мужик я видный очень,
к тому ж без всяких червоточин,
с душой, рожденной побеждать.

Но я, увы, не знаю счастья,
поскольку у небес во власти
привык из горя черпать дух, —
и с крепостью навек бетонной...
Не зря на подвиг вдохновенный
я вышел с честью из прорух.

А милая глядит все строже,
мол, что тебя надрывно гложет,
ведь жизнь моя полна тобой.
Не отвечаю... но без страха
готов взойти я хоть на плаху
в борьбе, что сам ищу порой.

И что же делать, в боль гадаю,
ведь вдрызг себя не поломаю,
ведь милую не бросить мне!
И время мчится, будто поезд,
в печали грозовой не кроясь,
чтоб мне гореть огнем в огне!

